

12+

ПРАВО НА ДЫХАНИЕ

Н. ГУРИНА, А. РУДЕНКО

Что остаётся, когда сгорает всё, что ты держала?
Оказывается — ты.

**Анна Руденко
Наталья Гурина
Право на Дыхание**

<https://litres.ru/74301322>

ISBN 9785007082327

Аннотация

Полудница, Дух Зенита, умеет считать. Стебли. Трещины. Обещания. Верит: если перестанет — мир рухнет. Тихий, Дух Воздуха, умеет ждать. Похвалы. Признания. Верит: если он есть — этого достаточно. Она тащит, он сидит в углу. Но однажды она говорит: «Того, что ты есть, — мало». И мир даёт трещину. «Право на Дыхание» — роман о том, что форма без жизни — стекло, а жизнь без действия — сквозняк, что иногда нужно сжечь поле, чтобы выросла трава...

Содержание

ПРОЛОГ	5
«ПРОТОКОЛЫ НАБЛЮДЕНИЯ. ТОМ IV»	6
ГЛАВА 1. ПОЛЕ БЕЗ ТЕНИ	13
ГЛАВА 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ	29
ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ №4.	42
ВЛОЖЕНИЕ №1	
ГЛАВА 3. ПАЛОЧКИ И ВЕРЁВОЧКИ	45
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Право на Дыхание

Наталья Гурина

Анна Руденко

© Наталья Гурина, 2026

© Анна Руденко, 2026

ISBN 978-5-0070-8232-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ

Явь сидел на пне. Это был очень старый пенёк — из тех, что помнят времена, когда лес был полем, поле — травой, а трава — просто чьей-то нереализованной идеей. Кора под пальцами Яви крошилась. Всё в этом мире рано или поздно крошилось. Явь знал это лучше многих — он наблюдал за миром дольше, чем некоторые горы.

Перед ним на плоском камне лежал фолиант. Тяжёлый, в переплёте из дублёной кожи, с медными застёжками, пожелтевшими от времени. Страницы пахли сухой травой и дымом — так пахнут отчёты, которые пишутся веками. На обложке багровым светом значилось:

«ПРОТОКОЛЫ НАБЛЮДЕНИЯ. ТОМ IV»

Рядом стояла глиняная чернильница. В пальцах Явь держал заточенное гусиное перо. Он только что вывел:

Субъект: Банник

Состояние: стабильное

Пар: густой

Жар: ровный

Примечание: жалоб нет.

Жалоб не было. У Банника вообще редко бывали жалобы. Банник сидел в своей бане, парил случайных путников и был вполне доволен жизнью. Идеальный субъект для наблюдения. Скучный, но идеальный.

Явь отложил перо и посмотрел на Банника сквозь строки протокола. Духи не были чистыми стихиями. Когда-то люди верили, что духи живут как люди — и вера придала им форму. Форма требовала быта. Быт порождал неудобства. Даже дух зенита мог заболеть, если слишком долго не пил воды. Явь записал и это — не в протокол, а в отдельную тетрадь, которую называл «Гипотезы». Таков был парадокс воплощения.

— Явушка.

Навь возникла из тумана. Точнее, она и была туманом, который решил, что быть просто туманом сегодня скучно. Тон-

кая струйка выползла из-под корней, собралась в облачко, а затем обрела очертания — высокие, угловатые, с волосами, похожими на спутанные нити речного ила. Глаза — два болотных огонька, которые то вспыхивали, то гасли, как светлячки на болоте, не определившиеся с графиком работы.

Одежда её струилась и меняла форму — то ли плащ, то ли река, то ли тень от листвы. Навь никогда не могла решить, что надеть, поэтому надевала всё сразу. Это создавало определённые неудобства при ходьбе, но она не жаловалась. Туманы вообще редко жалуются. У них другая специализация.

В руках она держала стебель. Тонкий. Стекланный. С пятью глубокими трещинами вдоль всей длины. Стебель тихо звенел, как будто жаловался на жизнь.

— Смотри, — сказала она.

Явь взял стебель. Провёл пальцем по трещинам. Их было пять — пять борозд, и каждая как след от ногтя. Как будто кто-то считал их. Снова и снова. Раз, два, три, четыре — треснул.

— Стекланный ковыль, — сказал он. — С полей Полудницы.

— Я была там. — Голос у Нави был быстрый, слова налепали друг на друга, как капли дождя на окно. — Она стояла посреди поля. Одна. И считала. Ты знаешь, как она считает, Явушка? Она считает всё. Стебли. Трещины. Вдохи. Я смотрела на её лицо — оно было...

Навь запнулась. Подбирать слова она умела не лучше, чем

выбирать одежду.

— Как у человека, который долго держал небо, — подсказал Явь, — и вдруг понял, что руки пустые.

— Да! Именно! Откуда ты знаешь?

— Я наблюдаю. Это моя работа.

— Они опять поссорились, — продолжала Навь. — Тихий хлопнул дверью и улетел в стратосферу. Она осталась одна. Стояла и плакала. А потом взяла этот стебель и начала считать. Как будто если она досчитает до конца, что-то изменится.

— Он вернётся, — сказал Явь.

— Через час. Или два. Она даже выдохнуть не успеет. Только выплачется — а он уже тут. С порога: «Ты даже не подула мне вслед». И она скажет: «Ты прав». Потому что сил спорить нет. И всё пойдёт по кругу.

Навь замолчала. Потом подняла глаза — два болотных огонька горели ярче обычного.

— Ей спокойнее, когда его нет. Когда он задерживается, когда уходит дальше стратосферы — она дышит. Гуляет по полю. Просто ходит. Без счёта. А когда он рядом — счёт, счёт, счёт. Он не плохой, Явушка. Но он её...

Она не закончила. Не нашла слова. Слова вообще часто подводили Навь — возможно, потому что туману слова не нужны, туману нужно просто быть.

Явь открыл фолиант. Перевернул страницу. Взял перо.

— Банник подождёт.

— Банник снова топит баню, — сказала Навь. — Говорят, к нему птица прилетела. Жаркая. Злая. Он её парит.

— Жар-птица?

— Кажется.

Явь перевернул страницу.

— Зафиксируем позже. Сначала — Полудница.

— Правда? — Навь подалась вперёд. Её туманные ноги на мгновение обрели форму стоптанных башмаков. Башмаки выглядели так, будто прошли через все болота мира и ещё парочку сверх того. — Мы будем наблюдать за Полудницей?

— Ты — наблюдать. Я — записывать. Без вмешательства.

— А можно я к Коту схожу?

— Зачем?

— Попрошу его сходить к ней. Сказку рассказать. Или просто посидеть рядом. Он умеет быть... просто быть. Тяжело. Мурчаще.

— Кот соблюдает политику невмешательства.

— Знаю. — Навь вздохнула, и туман вокруг неё колыхнулся. — Но попытаться-то можно? Ты же сам говорил, что даже у политики невмешательства бывают исключения.

— Я такого не говорил.

— Значит, скажешь. Когда-нибудь. Когда поймёшь, что наблюдать — это иногда недостаточно.

Явь ничего не ответил. Перо скрипело по бумаге. Строки ложились одна за другой — сухие, точные, безупречные в своей бюрократической красоте:

Субъект: Полудница, Дух Зенита. Хранительница Поля.

Состояние: пересчитывает стебли. Пятый по счёту треснул в пальцах. Субъект сложила обломки в ряд. Начала заново. (Примечание: результат, скорее всего, будет тем же. Стекло не становится менее треснутым от пересчитывания. Но субъект продолжает.)

Сопутствующий фактор: Тихий, Дух Воздуха. Отсутствует (ссора). Предположительное время возвращения — 1—2 часа. (Примечание: всегда возвращается. Это его единственная стабильная черта.)

Дата: начало лета. Поле на грани засухи. Стекланный ковыль повсеместно. Чертополох — единственный экземпляр. (Примечание: чертополох не стекланный. Почему — неизвестно. Возможно, он просто упрямый.)

Примечание: на момент начала наблюдения Полудница одна. Счёт прерван. Ждёт.

— Готова? — спросил Явь.

Навь всё ещё крутила в пальцах стебель. Тот тихо звенел — высокий, тонкий звук, почти на грани слышимости. Как будто стекло пыталось что-то сказать, но не знало слов.

— Она сейчас там одна. Плачет. А через час он вернётся.

— Мы это зафиксируем.

Навь покрутила стебель в пальцах. Стекло тихо звенело.

— Она — Явь, — сказал Явь, не поднимая головы от фолианта. — Чистая Явь. Свет. Жар. Порядок. Она думает, что если перестанет считать, мир рассыплется.

— А он?

— А он — Навь. Чистая Навь. Ветер. Потенциал. Он думает, что если перестанет ждать, мир его забудет.

Навь помолчала. Туман вокруг неё сгустился.

— Это же... они же...

— Да. Они — крайности. Крайности всегда притягиваются. И всегда разрывают друг друга. Вопрос в том, успеют ли они это понять.

— А мы?

— Мы наблюдаем.

— Ты всё фиксируешь, Явушка. Кроме того, что важно.

Явь поднял голову. Глаза — остывающие угли — смотрели на неё долго. Очень долго. Так смотрят скалы на море.

— Я фиксирую то, что можно зафиксировать, — сказал он. — Остальное — домыслы.

— Домыслы — это и есть самое интересное.

Он не понимал, что интересного в домыслах. Домыслы нельзя занести в протокол. Домыслы нельзя проверить. Домыслы — это как туман: вроде есть, а вроде и нет. Впрочем, Навь тоже была туманом. Возможно, в этом было дело.

Где-то в глубине Леса, на старой сосне, Кот Баюн приоткрыл один глаз. Жёлтый. Тяжёлый. Такой глаз бывает у существа, которое знает больше, чем говорит, и говорит меньше, чем могло бы. Он ничего не сказал. Он просто смотрел в сторону Поля. А потом закрыл глаз снова и замурчал —

низко, утробно, как будто сама земля дышала во сне.

Кот знал, что рано или поздно кто-нибудь придёт просить его о вмешательстве. Коты вообще знают такие вещи. Это одно из их основных свойств, наряду с мурчанием и способностью смотреть на человека так, будто он только что совершил ошибку, которую Кот предвидел ещё в прошлый четверг.

Но сегодня он не пойдёт. Сегодня он просто будет лежать и мурчать. Политика невмешательства — это, конечно, скучно. Но мурчать — никогда.

ГЛАВА 1. ПОЛЕ БЕЗ ТЕНИ

Полудница проснулась от счёта.

Это был не тот счёт, которым нормальные люди считают овец перед сном. Это был счёт, который шёл сам — размеренно, неумолимо, как шаги патрульного, обходящего владения. Она ещё не открыла глаза, а цифры уже маршировали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сбилась.

Что-то было не так. Какая-то трещина в утренней тишине. Она открыла глаза.

Потолок шалаша был собран из всего, что удалось найти и притащить за долгие годы. Центральная балка — ствол молодой сосны, которую она сама приволокла из Леса десять лет назад, в первое лето после того, как они решили жить вместе. С тех пор сосна высохла, потемнела, но держала — из упрямства, надо полагать. Деревья вообще упрямые. Тихий обещал заменить её три года назад. Вместо замены он примотал к треснувшему боку кривую берёзовую ветку — примотал крепко, на совесть, но криво. Верёвочка была из лыка, которое он сам драл с липы у ручья, пока она стояла рядом и считала его движения. Она заметила, что ветка кривая. Но промолчала. Полудница часто молчала. Это был её способ не ссориться — не самый эффективный, но других она не знала.

Теперь эта берёзовая палочка покосилась за ночь. Совсем

чуть-чуть. На два пальца левее, чем вчера.

Она это заметила. Полудница замечала всё. Это было её даром и её проклятием — впрочем, как и большинство даров.

Тихий спал в своём углу, свернувшись в прозрачный клубок. Во сне он почти исчезал — только лёгкое мерцание выдавало его присутствие, как будто кто-то забыл выключить свет в пустой комнате. В углу пахло влажной землёй, пылью и чем-то ещё — его собственный запах, который она не могла описать словами. Не холод. Не ветер. Что-то среднее — как воздух перед грозой. Как обещание, которое пока не нарушено.

Она посмотрела на него — и внутри снова затикало. У Полудницы внутри вообще много чего тикало. Некоторые духи измеряют время по солнцу. Некоторые — по луне. Полудница измеряла его по тому, что Тихий не сделал. Это был не самый точный хронометр, но зато самый надёжный.

Он спит. Он обещал вчера полить поле. Он не польёт. Он никогда не поливает. Он скажет «я собирался, но ты не дала мне времени». Она скажет «у тебя было двадцать лет». Он обидится. Она будет виновата. Как всегда.

Она встала и вышла наружу, чтобы не досчитывать до конца. Конец она знала заранее.

Поле лежало перед ней — белое, ровное, причёсанное. Стекланный ковыль блестел в первых лучах солнца так, как блестит только что-то очень хрупкое и совершенно мёртвое.

Она пошла по меже, касаясь стеблей кончиками пальцев. Каждый стебель — на месте. Каждый — под нужным углом. Каждый — сосчитан. Поле выглядело так, как выглядит стол бухгалтера перед проверкой: всё под линейку, и горе тому стеблю, который попытается вырасти не под тем углом.

На восьмом она остановилась. Стебель был треснутый. Тонкая, едва заметная трещина шла от середины к корню — как будто стекло устало притворяться целым. Она провела пальцем — трещина была глубже, чем казалось. Стекло крошилось под ногтем.

Она выдернула стебель. Положила на ладонь. Сломанный. Неправильный. Его нужно было заменить. Но нового не было. Стекланный ковыль не вырастал заново — он просто был. Давно. В этом было что-то глубоко неправильное, но Полудница привыкла не задавать вопросов, на которые нет ответа. У неё таких вопросов накопилось на целую библиотеку.

Она аккуратно положила сломанный стебель на землю и пошла дальше.

У межи темнел чертополох. Единственное живое пятно на всём поле. Кривой. Колючий. Неправильный. Абсолютно не вписывался в генеральный план. Она хотела вырвать его — и не могла. Что-то держало. Может быть, запах — горький, терпкий, как полынь. Может быть, память о том, что он пережил уже три засухи и два пожара. Может быть, профессиональное уважение: чертополох был единственным суще-

ством на этом поле, которое отказывалось подчиняться её счёту, и за это она почти восхищалась им.

— Ты опять считаешь.

Она обернулась. Тихий стоял у входа в шалаш. Размытый. Взъерошенный. Смотрел на неё с привычным укором. Если бы укор был строительным материалом, Тихий мог бы построить из него мост до самой стратосферы.

— Я не считаю, — сказала она. И поймала себя на том, что внутри всё ещё идёт счёт. Счёт был автономным. Он не нуждался в её разрешении.

— Ты сейчас считаешь, — сказал он. — Я вижу. У тебя глаза дёргаются в такт. Раз-два-три. Раз-два-три. Как метроном. Как часы. Как...

— Я поняла, — перебила она.

Она хотела возразить — и не смогла. Потому что он был прав. Она считала. Даже когда молчала. Даже когда спорила. Счёт шёл сам, как дыхание, как пульс, как стеклянный звон над полем. Можно сказать, что счёт был её способом дышать. Некоторые люди дышат воздухом. Полудница дышала цифрами.

— Ты обещал полить поле, — сказала она, чтобы сменить тему. Тема была старая, как сам шалаш, но других у них не было.

— Я помню.

— Ты три дня назад обещал. Где вода?

Он отвёл глаза. Его очертания стали чуть прозрачнее —

верный признак того, что он сейчас начнёт защищаться. Тихий в защите был прекрасен. Если бы существовал чемпионат по уклонению от ответственности, он взял бы золото.

— Я собирался. В прошлый раз ты сказала, что я лью неправильно. Криво. Что я всё порчу. Как...

Он осёкся. Но она услышала то, что он не сказал. *Как тогда. Как с садом.* У них было много «тогда». Некоторые пары коллекционируют воспоминания о счастливых моментах. Эти двое коллекционировали воспоминания о неудачах. У каждого была своя коллекция. Они никогда не показывали их друг другу, но знали каждую до последнего экземпляра.

— Я не говорила «как тогда», — сказала она тихо.

— Ты подумала.

Она не ответила. Потому что он был прав. Она подумала. О той самой истории. О саде, о котором он столько раз упоминал, но так и не рассказал. О чём-то, что его сломало когда-то. Она не знала деталей, но жалела его. Каждый раз, когда он промахивался мимо чертополоха, она вспоминала: у него травма. Не говорила — думала. И он знал. Это была их особая магия: он всегда знал, о чём она молчит. Жаль, что он не знал, о чём она говорит.

— Я хотел как лучше, — сказал он. — Я всегда хочу как лучше. Но тебе всё не так. Всё кривое. Всё неправильное.

— Потому что ты ставишь палочки вместо гвоздей. Берёзовая ветка на сосновой балке, Тихий. Ты примотал её три года назад. Три года она держится на верёвочке. И я каждое

утро смотрю на неё и думаю: сегодня упадёт.

— Но она же не падает.

— Потому что я проверяю! Каждое утро! Как и всё остальное — полив, трещины в земле, трещины в крыше, трещины в тебе и во мне!

Она замолчала. Последние слова повисли в воздухе, как пыль после удара. Тихий смотрел на неё. Его очертания сгустились, стали почти плотными. Так сгущается воздух перед грозой — не потому что хочет, а потому что вынужден.

— Трещины во мне, — повторил он. — Значит, я треснутый. Как твой стебель. Как всё, что ты считаешь.

— Я не это имела в виду.

— Нет, ты это имела в виду. Ты всегда это имеешь в виду. Я для тебя — ещё один стебель, который растёт криво и мешает ровному ряду.

Он шагнул к выходу. Она схватила его за руку — размытую, полупрозрачную. Он замер. Рука была почти как настоящая — только чуть холоднее, чем нужно.

— Не уходи.

— Почему?

— Потому что...

Она запнулась. Потому что что? Потому что поле умрёт без него? Потому что она не справится одна? Потому что он нужен ей — не для поля, а просто. Рядом. Прозрачный. Взьерошенный. С его палочками и верёвочками. С его дурацкими обещаниями и не менее дурацкими попытками их

сдержать. Просто нужен. Но как это сказать вслух? Слова «ты мне нужен» застревали у неё в горле, как сухая трава.

Она не успела сказать.

— Вот именно, — сказал он. — Ты даже не знаешь, почему.

Он выдернул руку. Вышел из шалаша. Она слышала, как он поднимается — выше, выше, в стратосферу. Воздух колыхнулся. Стекланный ковыль зазвенел громче. А потом наступила тишина.

Тишина была хуже звона. Со звоном она хотя бы знала, что делать: считать. Тихину считать было нельзя.

Она стояла посреди шалаша. Одна.

Она огляделась. В его углу — всё тот же художественный беспорядок: обломки веток, верёвочки, мох. Раньше она убирала и его угол — когда он улетал надолго. Это был её ритуал: он исчезал — она наводила порядок. Всё должно было стать ровным, чистым, учтённым. Она мыла пол. Перебирала травы. Поправляла палочку. Это успокаивало. Когда он возвращался, он оглядывал её работу и говорил: «Я бы сделал иначе. Но ты старалась». И мостился обратно в угол, возвращая хаос на место.

Она вышла наружу. Поле лежало перед ней — белое, ровное, мёртвое. Солнце палило — в конце концов, она была Духом Зенита, и солнце в зените было её профессиональной обязанностью. Стекланный ковыль звенел. В ушах стоял звон — или это был не ковыль, а что-то внутри неё. Что-то,

что она отказывалась слушать.

Она пошла по меже. Просто чтобы идти. Просто чтобы двигаться. Плечи ныли. Она только сейчас это заметила. Двадцать лет держать небо — это работа. Плечи помнили её лучше, чем голова. Голова считала. Плечи держали. Между ними не было связи — как между Явью и Навью, которые забыли, что они танец. Движение помогало не думать. Не то чтобы это работало — но она хотя бы пыталась.

Под ногами хрустел стеклянный ковыль. И каждый хруст отдавался в памяти. Память у Полудницы была организована как идеальная картотека: каждый стебель, каждая трещина, каждое «завтра» — всё подшито, пронумеровано, разложено по папкам.

Из норы у межи выскочил суслик. Слепой, взъерошенный, он метался между стеблями, натыкался на стекло и отскакивал, не понимая, куда бежать. За ним — второй, третий. Они пищали — тонко, испуганно. Суслики вообще редко понимали, что происходит. Это было их нормальное состояние. Она остановилась. Смотрела, как они мечутся. «Моя паника их пугает», — подумала она. Раньше эта мысль заставила бы её считать быстрее — чтобы успокоить поле, чтобы защитить их. Сейчас она просто смотрела. Суслики попищали и спрятались обратно в норы. Она пошла дальше.

Земля под босыми ступнями стала теплее — на полградуса, не больше. Она не заметила. Но суслики в норах заметили. Они зарылись глубже и притихли. Суслики вообще чув-

ствуют такие вещи первыми. Это их работа.

Вот здесь он впервые появился на поле — лёгкий, прозрачный, любопытный. Тогда поле было живым. Трава волнами уходила к горизонту, зелёная, гибкая. Он дунул на неё — просто так, от избытка лёгкости, — и трава заколыхалась, пригнулась к земле, но не сломалась. Она закричала — не от боли, не от гнева, а от неожиданности. Никто раньше не прилетал на её поле просто так. Никто не дул на траву. Никто не был таким... лёгким. Он испугался. Улетел. Вернулся через час. Сказал: «Я не хотел». Она ответила: «Я знаю». Это было их первое «я знаю». Первое из многих. «Я знаю» вообще было их коронной фразой. Жаль, что они редко знали одно и то же.

Вот здесь он пытался забить гвоздь в старую скамью у входа. Сказал: «Я почию». Давно, лет пять назад. Скамья шаталась, она сидела рядом и считала его удары. Промахнулся. Попал по пальцу. Бросил молоток. Сказал: «Всё, хватит с меня». Она сказала: «Не надо, я сама». Он обиделся. Она не поняла, почему. Только потом догадалась: он хотел сделать для неё. Сам. И не смог. Скамья стоит до сих пор — шаткая. Гвоздя нет. Но память осталась. Может быть, даже более прочная, чем гвоздь.

Вот здесь он обещал принести воду. В первый раз. Двадцать лет назад. «Завтра», — сказал он. «Завтра», — повторила она. Завтра длилось годами. Иногда он приносил. Чаще — нет. Она привыкла. Привыкла ждать. Привыкла напо-

минать. Привыкла к тому, что «завтра» — это такое особенное время, которое никогда не наступает, но всегда маячит на горизонте, как мираж. У них было самое долгое завтра в истории мифологии.

Вот здесь она заболела. Не тем жаром, что шёл в поле — ровным, рабочим, — а другим: липким, чужим, как будто кто-то чужой дышал ей в лицо. Она лежала и не могла встать. Счёт сбился. Губы пересохли. В углу темнела его тень — он сидел и вздыхал. Она попросила воды. Он сказал «сейчас». Это «сейчас» тянулось час. Она попросила снова. «Да, конечно», — сказал он и не двинулся с места. Ещё час. Она заплакала — беззвучно, одними глазами. Тогда он встал. Принёс воду. Тёплую. В кружке с трещиной. Протянул и замер — ждал. Она сказала «спасибо». Он кивнул и сел обратно. Она пила тёплую воду и думала: «Я могла умереть. А он ждал благодарности». Впрочем, он всегда ждал благодарности. Это было его способом быть — ждать, что его похвалят за то, что он просто существует. Тогда она этого ещё не понимала. Теперь, вспоминая, — поняла.

Она остановилась. Села на межевой камень. Тёплый. Пахнущий пылью и временем. Камень был старый и многое повидал. Если бы камни умели говорить, этот сказал бы: «Я же говорил». Но камни не говорят. Они просто лежат и помнят.

Может, она правда слишком давит? Может, он старается, а она не замечает? Вот же — примотал ветку. Криво, но примотал. Вот же — дул ей на щеку, когда она плакала. Вот же

— он здесь. Всегда. Даже когда уходит — возвращается. Даже когда обижается — молчит в своём углу, а не бросает насовсем. Может, это и есть его способ заботиться? Кривой, как его гвозди. Неуклюжий, как его палочки. Но настоящий? Или она просто уговаривает себя, потому что признать обратное слишком страшно?

Она сжала пальцами виски. В висках стучало. Мозг пытался просчитать оба варианта и не мог. Это была задача не для счёта. Это была задача для чего-то другого — чего у Полудницы не было.

А может, нет. Может, она уговаривает себя. Может, он просто не хочет брать ответственность. Просто привык, что она всё тащит. Он никогда не спрашивал, как она. Никогда не говорил «спасибо» — ни просто так, ни в ответ на её «спасибо». Никогда не приносил ей чай, когда она уставала. Она всегда давала. Он всегда брал. И ждал, что она будет рада давать вечно. Вечность — это долго. Даже для духов.

Слёзы подступили к горлу. Она сглотнула. Комок не ушёл. Комки вообще редко уходят по требованию.

Она поднялась. Пошла дальше. К чертополоху.

Вот здесь он сказал: «Не выпалывай его. Он колючий, как ты». Она тогда обиделась. Резко. До слёз. Он не понял, почему. Для него это был комплимент. Для неё — ещё одно напоминание, что она колючая. Что с ней трудно. Что она считает, требует, жжёт. Комплименты — странная вещь. Иногда они ранят больше оскорблений, потому что попадают в

самую незащищённую точку — в правду.

Но сейчас, стоя перед чертополохом, она вдруг подумала: а может, он был прав? Может, колючесть — это не проклятие? Может, это способ выжить? Чертополох вон как выжил — три засухи, два пожара, и стоит себе, цветёт фиолетовым. Колючий. Упрямый. Живой.

Она наклонилась. Подняла с земли тот самый треснувший стебель, который выдернула утром. Провела пальцем по трещине.

И вдруг слёзы потекли. Сами. Без разрешения. Без счёта. Слёзы вообще не спрашивают разрешения. Это их основное свойство.

Она стояла посреди поля — она, Полудница, Дух Зенита, Хранительница Поля, — и плакала. Это было неудобно. Духи Зенита не плачут — у них нет для этого физиологии. Но она как-то справлялась. Слёзы капали на стеклянный ковыль, и он звенел тише. Ковылю тоже было неловко. Он не был создан для того, чтобы утешать. Он был создан для того, чтобы его считали.

Она сжала стебель в пальцах. Сильно. Трещина. Ещё трещина. Стебель хрустнул и рассыпался. Она сложила обломки в ряд. Один к одному. Можно было начинать заново.

Она села на землю. Сложила обломки в ряд. Один к одному. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.

Можно было начинать заново.

Она не начинала. Это было странно. Обычно она начина-

ла сразу. Но сегодня что-то сдвинулось — на те самые два пальца, что и берёзовая палочка.

Она не знала, сколько прошло времени. Солнце сдвинулось — в конце концов, это была её работа, двигать солнце. Облачко в небе росло. Тихий возвращался. *«Он ждёт, — подумала она. — Всегда ждёт. Как ребёнок, который знает: мама придёт и всё исправит. Только я не мама. Я просто устала.»*

— Не надо.

Голос был низкий, тяжёлый, как будто говорила сама земля. Или как будто кто-то очень большой и пушистый решил, что пора вмешаться.

Она обернулась. На межевом камне сидел Кот. Чёрный. Тяжёлый. Широкий в плечах, как старый лесной волк. Шерсть его была сбита в жёсткие колтуны — в них застряли сухие травинки, угольная пыль и капли сосновой смолы. Левое ухо было вырвано наполовину — вместо него грубая розовая ткань, похожая на край обожжённого листа. Он не прятал этот шрам. Он носил его как знак.

Глаза — жёлтые, с вертикальным зрачком, немигающие. Он смотрел не на неё — куда-то в сторону Леса. Или сквозь Лес. Или сквозь время — с такого расстояния разница невелика. Коты вообще редко смотрят на того, с кем говорят. Это часть их загадочности.

— Ты Кот Яги.

— Допустим. — Кот не отрицал. Но и не подтверждал. У

котов своя политика в отношении фактов.

— Что ты здесь делаешь?

— Сажу.

Хвост свешивался с камня, чуть покачиваясь — влево, вправо, влево. Как метроном. Как счёт. Только этот счёт никуда не вёл.

— Пожара нет. Лесу ничего не угрожает.

— Знаю.

— Тогда зачем?

Кот перевёл взгляд на неё. Жёлтые глаза были тяжёлые, как два речных камня. Она почувствовала этот вес. Коты вообще умеют смотреть так, что ты чувствуешь себя взвешенным и оценённым — и не всегда в твою пользу.

— Он вернётся через несколько минут, — сказал Кот. — Сядет в углу. Будет вздыхать.

Полудница молчала. Возразить было нечего.

— Ты можешь не сидеть с ним.

— Я не могу. Я должна. Поле...

— Поле — это поле. Ты — это ты. — Кот произнёс это так, будто сообщал очевидный факт, который она почему-то упорно не замечала. — Это разные вещи. Удивительно, что я должен это объяснять.

Она посмотрела на чертополох. На каплю своей слезы на листе. Капля блестела на солнце, как крошечная линза.

Где-то высоко в небе облачко сгустилось и начало снижаться. Тихий возвращался. Всегда возвращался.

— Я пойду, — сказал Кот и прыгнул с камня. — Чертополох не поливай. Он сам. Он справляется лучше, чем вы оба вместе взятые.

И исчез в тени деревьев. Коты вообще исчезают именно тогда, когда ты хочешь спросить у них что-то важное. Это их способ поддерживать репутацию.

Полудница осталась одна. Облачко коснулось земли у шалаша.

Она встала. Отряхнула юбку. Юбка была в пыли и стеклянной крошке. Пошла к дому.

Навь сидела на корточках у края поляны. Туман вокруг неё сгустился — так сгущается туман, когда он пытается понять что-то, что выше его понимания. Явь стоял рядом с открытым фолиантом. Перо в его руке замерло.

— Она вспоминала, как болела, — прошептала Навь. — Он три часа не мог принести ей воды. Три часа, Явушка. Это сто восемьдесят минут. Это десять тысяч восьмьсот секунд. А потом ждал «спасибо».

— Я слышал.

— Она всё ему даёт. А он только берёт. И ждёт, что она будет счастлива от того, что он есть. Как будто «быть» — это уже достижение.

Явь отложил перо.

— Ты это поняла сейчас?

— Да. А она... она, кажется, начинает понимать. Медлен-

но. Как туман понимает, что ему пора рассеяться.

Явь посмотрел в сторону шалаша, где только что скрылась Полудница.

— Начинает. Но ещё не готова.

— А когда будет готова?

— Когда перестанет надеяться, что он изменится. Надежда — странная вещь. Иногда она держит крепче, чем любые цепи.

Навь долго молчала. Туман вокруг неё дрожал — так дрожит воздух над нагретой землёй.

— Это страшно, Явушка. Перестать надеяться.

— Это честно. А честность — это то, что остаётся, когда всё остальное сторело.

Явь дописал. Перо скрипнуло напоследок и затихло.

Субъект Полудница. Воспоминание о болезни. Осознание: он не даёт ничего взамен. Исключение: тёплая вода в надтреснутой кружке. Один раз.

Субъект Тихий. Отсутствует (стратосфера). Возвращается. (Примечание: всегда возвращается. Это его способ быть.)

Кот Баюн: присутствие. Вмешательство без вмешательства. (Примечание: Кот — единственный, кто понимает, что иногда лучшее вмешательство — это несколько слов и уход.)

Начало сдвига.

ГЛАВА 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Облачко коснулось земли у шалаша и обрело очертания. Если вы никогда не видели, как облачко обретает очертания, — представьте, что кто-то мнёт туман руками, пока туману это не надоест и он не примет форму просто чтобы от него отстали. Примерно так выглядел Тихий.

Он стоял, прислонившись плечом к дверному косяку — к той самой берёзовой палочке, которую примотал три года назад. Палочка скрипнула под его весом. Он поморщился, но с места не сдвинулся. Пусть видит. Пусть слышит этот скрип. Пусть знает — он вернулся. После всего, что она ему наговорила, — вернулся. А мог бы и не возвращаться. Мог бы остаться там, в стратосфере, где холодно и пусто и никто не кричит на тебя из-за какой-то палочки. Правда, там ещё холодно и пусто — но это детали. Тихий предпочитал помнить только героическую часть своего возвращения.

Полудница шла к шалашу медленно. Ноги были тяжёлые, будто к ступням привязали по межевому камню. Земля под босыми ступнями была сухая, тёплая, исчерченная трещинами, как старая ладонь. Она чувствовала каждую трещину — не считала, просто чувствовала. Это было новое ощущение. Обычно она считала. Не считать было почти неприлично — как будто она пренебрегала своими обязанностями.

Она остановилась в нескольких шагах от него.

Воздух между ними дрожал от жары. Полуденное солнце накалило поле добела, и даже сейчас, на закате, земля отдавала тепло — сухое, колючее. Пахло пылью и нагретым стеклянным ковылём. И ещё — им. Его запах. Слабый, едва уловимый — как воздух перед грозой. Как обещание, которое вот-вот нарушат.

Она ждала.

Он тоже ждал. Ждал, что она скажет первой. Что признает — была неправа. Она же накричала на него. Она сказала, что от него одни трещины. Что он всё делает не так. Разве можно такое говорить тому, кто всегда возвращается? Тому, кто два часа мёрз в стратосфере один, совсем один, пока она тут сидела и считала свои драгоценные стебли? Тихий был мастером обиды. Если бы обида была видом спорта, он бы выступал на олимпиаде. И взял бы серебро — потому что золото взял бы кто-то, кто обиделся на судей.

Она молчала. Смотрела на него — и молчала. Молчание было её новым оружием. Она ещё не знала, как им пользоваться, но уже чувствовала его вес.

— Я улетел в стратосферу, — сказал он наконец. — Там холодно и пусто. А ты осталась здесь и даже не подула мне вслед.

Он говорил «холодно», хотя холода не чувствовал. Он был ветром. Ветер не мёрзнет. Но «холодно» звучало лучше. «Холодно» — это про страдание. А страдание требовало сочувствия. Голос у него был тихий, с лёгким присвистом —

как ветер в печной трубе. Но под тишиной звенела обида. Застарелая. Уютная. Он грелся в ней, как в старом пледе. Обида была его любимой вещью. Он носил её годами, и она всё ещё была в хорошем состоянии — потому что он никогда её не стирал.

— Ты прав, — сказала она.

Он ждал продолжения. Может быть, «прости». Может быть, «я была неправа». Может быть, она подойдёт и сядет рядом — нет, не подойдёт. Она стояла, опустив руки, и смотрела на него красными глазами. На щеках — белые дорожки от слёз.

Плакала.

Он почувствовал укол неловкости. Не вины — неловкости. Как будто его застали за чем-то, что он не хотел показывать. Как будто она увидела его без оболочки — прозрачного, растерянного, настоящего. Он отвёл взгляд. Уставился на берёзовую палочку над головой. Треснутая. Кривая. Держится на одной верёвочке. Он примотал её три года назад — она попросила починить балку, а он не нашёл гвоздей. Ну не было гвоздей. Он сделал что мог. А она даже не заметила. Ну, может, заметила, но не похвалила. Просто посмотрела и промолчала. И с тех пор каждое утро смотрит и молчит. Как будто ждёт, что палочка упадёт. Может быть, и ждёт. Полудница вообще много чего ждала. В основном — напрасно.

— Я два часа сидел в стратосфере, — сказал он. — Один. Там холодно.

— Здесь тоже не жарко.

Она сказала это без злости. Просто констатировала. И от этого было только обиднее. Лучше бы она кричала. Крик — это понятно. В крике есть энергия, есть движение, есть куда бежать. А в этом тихом «здесь тоже не жарко» — только усталость. Его усталость. Её усталость. Их общая, на двоих, усталость от одного и того же круга. Круг был старый, хорошо протоптанный — они ходили по нему годами.

Он шагнул внутрь шалаша. Она — за ним.

Внутри было душно. Сухая трава на полу пахла пылью и временем. Время вообще пахнет пылью — кто бы мог подумать. Солнце пробивалось сквозь щели в стенах. Его половина была примята ровно по форме тела — он пролежал там столько, что трава запомнила каждый изгиб. Её половина была примята меньше. Она почти не сидела. Она всё время что-то делала. Это было их распределение обязанностей: она делала, он лежал.

Тихий опустился в свой угол. Привычным движением поджал ноги. Привычным движением вздохнул. Если бы существовала академия вздохов, Тихий был бы её ректором. Она села напротив. Сухая трава под ней хрустнула.

— Я думала, — сказала она.

Он насторожился. Обычно, когда она думала, это не предвещало ничего хорошего. Для него.

— О чём?

— О тебе. О нас. О том, что я сказала не так.

Вот. Вот оно. Сейчас она извинится. Сейчас она скажет, что была неправа, что он старается, что она это видит и ценит. Он ждал. Тихий вообще был специалистом по ожиданию. Это было единственное, что он делал без перерыва.

— Я думала: может, я правда слишком давлю. Может, ты стараешься, а я не замечаю. Вот же — ты примотал ветку. Криво, но примотал.

Он кивнул. Именно. Именно так. Криво, но примотал. И она наконец это признала.

— Я думала, — продолжала она, — о том, как ты дул мне на щеку. О том, что ты всегда возвращаешься. Даже когда я кричу.

— Я всегда возвращаюсь, — подтвердил он с готовностью. — Я же тебя не бросаю. Я никогда тебя не бросаю. Я — воздух вокруг тебя. Ты дышишь мной. Разве этого мало?

Он правда так думал. Он не врал. Воздух есть всегда, его не нужно замечать. А она устала дышать за двоих.

Она молчала. Он почувствовал, что нужно продолжать, — и продолжил, уже громче. Тихий всегда повышал голос, когда не был уверен в своей правоте. Это был его способ убеждать — не самый эффективный, но других он не знал.

— Я же для тебя всё делаю. Я здесь. Я с тобой. Я терплю. Твой счёт. Твои проверки. Твои «сделай то, сделай это». Ты думаешь, мне легко? Думаешь, приятно, когда на меня кричат из-за какой-то воды? Из-за какой-то палочки?

— Я не кричала из-за палочки.

— Кричала! — Он даже привстал. — Ты сказала, что я всё делаю не так! Что от меня одни трещины! Что я... — Он осёкся, подбирая слова. — Что я — сквозняк, от которого ты закрываешь окно. Вот.

Слово повисло в воздухе. Тяжёлое. Неловкое. Он сам не ожидал, что скажет его. Но слово было сказано, и теперь оно лежало между ними, как межевой камень. Иногда слова тяжелее камней. Их нельзя просто обойти — через них нужно переступить.

Полудница смотрела на него. Не со злостью. С удивлением. Как будто впервые увидела.

— Ты правда так думаешь? — спросила она. — Что я тебя не ценю?

— Ты не говоришь, — буркнул он. — Никогда не говоришь. Только «сделай» и «почему не сделал». А я... я же здесь. Я же с тобой. Я же не ухожу насовсем. Я всегда возвращаюсь. Разве этого мало?

Это был его главный аргумент. «Я здесь». Как будто присутствие — это уже подвиг. Как будто «быть» — это действие.

Она ничего не ответила. Отвела взгляд. Её глаза скользнули по шалашу — по кривым веткам, по верёвочкам, по пучку засушенных трав, который лежал у её подстилки нетронутым. Она собрала эти травы прошлой осенью. Дикий лук, корень петрушки, пара веточек тимьяна. Хотела сварить суп. Настоящий, горячий суп. Она сказала ему: «Я соберу травы,

а ты принесёшь воды». Он сказал: «Завтра». Завтра не наступило. Травы высохли. «Завтра» вообще было их самым часто употребляемым словом. И самым пустым.

Она перевела взгляд на его половину. На примятую траву в форме тела. Он сидел в этом углу годами. Сидел и ждал. Ждал, что она похвалит. Ждал, что она оценит. Ждал, что она перестанет просить. Угол был его крепостью. Из крепости удобно обороняться. Особенно если враг — это просьба принести воду.

И вдруг ей стало холодно. Хотя за стенами шалаша плавился воздух, хотя закатное солнце всё ещё било сквозь щели — ей стало холодно. А подстилка под ней стала тёплой. Слишком тёплой. Сухая трава нагрелась, как нагревается земля в полдень. Она чувствовала этот жар бёдрами, спиной — и не могла его остановить. Он шёл изнутри, не спрашивая разрешения. Край подстилки потемнел — не загорелся, но был близок к тому.

Потому что она поняла. Не умом — телом. Он не обижен. Он не ранен. Он просто не хочет. Встать. Сделать. Взять ответственность. Он хочет сидеть в углу и ждать, что его покормят. И он правда считает, что этого достаточно. «Я — воздух вокруг тебя». Как будто этим можно накормить поле. Как будто этим можно починить крышу. Воздух — прекрасная вещь. Но суп из него не сварить.

— Тихий, — сказала она. — Того, что ты есть, — мало.

Он вздрогнул. Его очертания истончились, стали почти

прозрачными. Так бывало, когда он обижался — а обижался он часто, это было его основное хобби. Сейчас он тоже обижался — она видела. Но под обидой было что-то ещё. Что-то, похожее на страх.

Он поднял глаза. Два пятна серого света больше не дрожали — они горели.

— Ты хочешь знать, почему я ничего не делаю? — сказал он. — Хочешь? Я скажу.

Она молчала. Молчание было её новым ответом. Оно работало лучше слов.

— Ты не даёшь мне времени. Ты говоришь «принеси воду» — и я иду. Ты говоришь «сейчас». Всегда «сейчас». А я не могу «сейчас». Я могу — «на века». Я продумывал жёлоб от ручья. Настоящий. Деревянный. Чтобы вода текла сама, без вёдер, без напоминаний. Я всё рассчитал. Угол наклона. Сечение досок. Я был готов начать. Но ты... ты не спросила. Ты просто сказала «принеси воду». И я принёс. В ведре. Потому что тебе нужно было сейчас. А жёлоб — это на века. Но ты не ценишь веков. Ты ценишь только «сегодня».

— Я ждала три дня, — сказала она. — Ты обещал три дня назад.

— Три дня! — Он усмехнулся. — Ты считаешь дни, как свои стебли. А я считаю века. В этом вся разница. Ты требуешь малого сейчас. Я предлагаю великое — потом. Но ты не хочешь ждать. Ты хочешь сиюминутного. И ты получаешь сиюминутное. Палочки. Верёвочки. Ведро с водой. Потому

что на великое нужно время. А ты не даёшь мне времени.

— Я даю тебе время. Двадцать лет.

— Двадцать лет — это не время! — отрезал он. — Двадцать лет — это миг. Я мыслю веками. Тысячелетиями. А ты...

— Жёлоб, — перебила она. — Где жёлоб? Ты говоришь о нём уже пять лет. Я не видела ни одной доски. Ни одного чертежа. Где он?

— Здесь. — Он постучал себя по лбу. — Он готов. Полностью. Я могу начать хоть завтра. Но ты не даёшь мне начать. Ты дёргаешь меня по мелочам. Принеси воду. Подоткни крышу. Поправь балку. Я размениваюсь на мелочи, потому что ты не даёшь мне сосредоточиться на главном. А потом ты говоришь, что я ничего не делаю.

— Ты ничего не делаешь.

— Я делаю всё! — Он повысил голос. — Ты просто не видишь! Ты видишь только результат. А результат — он не всегда зависит от меня. Я могу сделать всё идеально — и всё равно кто-то испортит. Как тогда. С садом.

Он замолчал. Она ждала. Полудница умела ждать. Она практиковалась двадцать лет.

— Ты хочешь знать, почему я не спешу? — сказал он тише. — Я расскажу.

Он рассказал про сад. Про молодые яблони. Про Садовника у колодца. История была старая, но Тихий рассказывал её так, будто она случилась вчера. Возможно, для него так и

было. Тихий вообще плохо различал «вчера» и «тысячу лет назад». Для ветра время течёт иначе.

— Я три дня собирал тучи. Три дня. Я гнал их через полмира. Я всё рассчитал. Дождь пошёл именно тогда, когда было нужно. Садовник смеялся. Он подставлял лицо под капли. Я сделал всё идеально. Понимаешь? Идеально.

Он замолчал. Его лицо — два пятна серого света — было почти спокойным. Почти гордым. Почти счастливым — той самой памятью о моменте, когда всё получилось.

— А потом ударил мороз. Я не знал. Я не мог знать. Я ветер, а не гадалка. Я не чувствую холода. Я принёс дождь и улетел. А утром сад был чёрный. Вода замёрзла на ветках. Садовник вышел и закричал. Он проклинал дождь. Проклинал ветер. Проклинал меня.

Тихий поднял глаза.

— Я сделал всё правильно. Но пришёл мороз — и всё испортил. И никто не вспомнил дождь. Все вспомнили только мороз. И обвинили меня. Как будто это я принёс мороз. Как будто я виноват в том, что мир несправедлив.

Он посмотрел на неё в упор.

— Теперь ты понимаешь? Мир всегда найдёт способ всё испортить. И ты — ты тоже. Ты видишь только палочки. Только кривые гвозди. Только то, что не получилось. А то, что получилось, — ты не замечаешь. Как Садовник не заметил дождь.

Она долго молчала. Потом сказала:

— Ты рассказал. Я услышала.

— И всё?

— А что ты хочешь услышать?

— Что ты понимаешь. Что ты больше не будешь обвинять меня в том, в чём я не виноват.

— Я не обвиняю тебя в морозе. Я прошу воды. Сегодня. Сейчас. Не через века.

— Вот! — Он вскинул палец. Палец был прозрачный, но укоризненный. — Опять «сейчас»! Ты опять не слышишь! Я говорю тебе о несправедливости мира, а ты — о воде!

— Потому что поле сохнет.

— Поле сохло и до меня. И до тебя. И будет сохнуть после. Но ты не видишь картины. Ты видишь только сегодняшний день.

Она встала. Подошла к своей половине. Легла. Закрыла глаза.

Она устала быть зрителем в театре его величия. Ей нужен был не гений. Ей нужен был тот, кто принесёт воду. Гений — это прекрасно. Но от гения пить хочется.

Но она не сказала этого. Она закрыла глаза и стала ждать, когда он перестанет вздыхать в своём углу. Ждать пришлось долго. Тихий был мастером не только вздохов, но и затяжных пауз.

И ещё она подумала — уже засыпая, — что он ни разу не спросил, каково ей было одной на поле. Плакала ли она. Было ли ей страшно. Что она чувствовала. Двадцать лет вместе

— и ни одного такого вопроса. Может быть, это и есть ответ. Он спросил только: «Ты осталась здесь и даже не подула мне вслед».

Навь сидела на пне. Туман вокруг неё дрожал — не от холода, от возмущения. Туман вообще редко возмущается, но когда это происходит, это выглядит впечатляюще.

— Он сказал, что сделал всё идеально, — прошептала она. — Что мир несправедлив. Что она не ценит его величия. Его величия, Явушка. Он пять лет не может забить гвоздь.

— Он правда так думает, — ответил Явь.

— Но это же неправда. Мороз — это не несправедливость. Мороз — это просто мороз. Морозам всё равно, кто принёс дождь. У них своя работа.

— Ему нужно, чтобы в его неудачах был виноват кто-то другой. Мир. Садовник. Она. Кто угодно. Только не он. Это называется «внешний локус контроля». Я записал это в протокол.

— И он ни разу не спросил, как она. Плакала ли она. Было ли ей страшно. Двадцать лет, Явушка.

— Он не умеет спрашивать. Он умеет только ждать, что спросят его.

Навь долго молчала. Потом спросила:

— А она? Она поверила ему?

— Она перестала спорить. Это не значит, что поверила. Это значит, что устала доказывать. Спор — это когда двое

говорят. Когда один замолкает — это уже не спор. Это конец.
Явь подвинул к ней фолиант. Навь прочитала вслух:

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

№4. ВЛОЖЕНИЕ №1

Субъект: Тихий (Дух Воздуха, внук Стрибога).

Состояние: пониженный вес. Склонность к рассеиванию в стратосфере. Возвращается в течение 1—2 часов после ссоры. (Примечание: возвращается в 100% зафиксированных случаев. Причины возвращения не установлены. Возможно, привычка.) На возвращении — ожидание извинений. Извинений не поступает. (Примечание: извинения поступали раньше. Давно. Когда она ещё верила, что виновата. Сейчас — нет. Но субъект продолжает ждать. Это оптимизм или недостаток памяти — не установлено.)

Дополнительно: рассказал о случае с Садовником. Дождь. Мороз. Крик. Подача: «я сделал всё идеально, мир несправедлив». Ожидал признания своей правоты. Признания не получил.

Субъект: Полудница (Дух Зенита, Хранительница Поля).

Выслушала. Не оспаривала. Не согласилась. Ответ: «Ты рассказал. Я услышала». (Примечание: «услышать» и «согласиться» — разные вещи. Полудница, кажется, начинает это понимать.)

Примечание: дистанция сохраняется. Полудница устала от споров. Тихий не получил желаемого.

Подпись: Явь

— Знаешь, что она проверяет каждое утро? — сказал вдруг Явь.

— Что?

— Верёвочку. Ту самую, которой примотана берёзовая палочка. Она просыпается — и смотрит на неё. Каждое утро. Уже три года. Тысяча девяносто пять проверок. Я считал.

— Я знаю. Я тоже наблюдаю.

Явь отложил перо. Поднялся с пня. Его движения были медленными, тяжёлыми — как сдвиг тектонической плиты. Когда ты — часть земли, ты никуда не спешишь.

— Я хочу проверить, — сказал он.

— Что проверить?

— Что будет, если подуть. Один раз. Легонько. Как Тихий, когда он... дует.

Навь метнулась наперерез — туманное облако сгустилось стеной, преграждая путь. Это было впечатляюще. Обычно туман не встаёт стеной. Обычно он просто висит.

— Ты скала. Скалы не дуют. Скалы стоят.

Явь остановился. Посмотрел на неё — и медленно отступил. Но взгляд остался на верёвочке. Взгляд был тяжёлый, как геологический период.

— Я хотел, — сказал он. — Но это не мой эксперимент. Это их жизнь. Иногда самое трудное — не вмешиваться.

Навь выдохнула. Туман вокруг неё медленно разжался.

— Ты странный, Явушка.

— Я наблюдатель.

— Нет. Ты воспитатель. Ты проверяешь их на прочность.

Как горшок в печи.

Явь чуть заметно усмехнулся — одними глазами. Глаза у него были как остывающие угли. Когда они усмехались, это выглядело как маленькое землетрясение — Явь вообще не умел выражать эмоции без геологических последствий.

— Я проверяю не их. Я проверяю законы мира. Верёвочка, которая держит балку, — это закон. Если она лопнет — закон изменится. Мне нужно знать, готов ли мир к тому, чтобы закон изменился.

Навь села рядом с ним на пень. Их плечи почти соприкасались — туман и кора. Это было странное соседство, но они к нему привыкли.

— Мир, может, и готов, — сказала она тихо. — А она — пока нет. Она всё ещё смотрит на верёвочку каждое утро.

— Хорошо. Подождём. Ждать я умею. Я ждал, пока сформируются горы. Подождать ещё немного — не проблема.

ГЛАВА 3. ПАЛОЧКИ И ВЕРЁВОЧКИ

Тихий проснулся до рассвета.

Это было настолько не в его характере, что даже берёзовая палочка, казалось, удивилась. Он лежал в своём углу и смотрел в потолок. Палочка покосилась за ночь — он заметил это и ничего не сделал. Не его дело. Она проверяет палочку каждое утро — вот пусть и поправляет. У них было чёткое распределение обязанностей: она беспокоится, он не беспокоится. Система работала — в том смысле, что крыша пока не упала.

Он встал — бесшумно, как умел только он. Тихий вообще умел быть бесшумным, когда хотел. Когда не хотел — тоже, потому что он был ветром, а ветер не спрашивает разрешения. Полудница спала на своей половине, прижавшись спиной к сухой траве. Он посмотрел на неё — и внутри что-то шевельнулось. Не нежность. Обида. Вчерашняя, ещё тёплая, как непогасший уголь. «Того, что ты есть, — мало». Она сказала это. Сказала ему. Тому, кто всегда возвращается. Тому, кто два часа мёрз в стратосфере. Тому, кто — воздух вокруг неё. «Мало». Слово было короткое, но весило как межевой камень.

Он покажет ей. Он польёт чертополох. Сам. До того, как

она проснётся. Она выйдет — а он уже мокрый, блестит на солнце. И она поймёт. Поймёт, кого она не ценила. Это был план. У Тихого вообще было много планов. Они всегда заканчивались на стадии «она поймёт». Дальше этой стадии он не загадывал.

Он выскользнул из шалаша. Утренний воздух был прохладный, но уже пахло жарой — так пахнет день, который ещё не решил, будет он милосердным или нет. Чертополох темнел у межи. Он подошёл, собрал остатки ночной влаги из воздуха — немного, на один полив. Собрать влагу из воздуха — это вам не ведром зачерпнуть. Это тонкая работа. Тихий умел делать тонкую работу. Когда никто не смотрел.

Поднял облачко. Прицелился. Вылил.

Вода потекла мимо. Большая часть ушла в землю, даже не задев корней. Лужа растеклась кривым пятном. Но несколько капель попало на листья. Чертополох стал мокрым. Не равномерно мокрым — скорее, оскорбительно мокрым, как будто его обрызгали из лужи.

Тихий отступил на шаг. Оглядел результат. Криво. Но мокро. Сойдёт. В конце концов, чертополох не предъявит претензий. У чертополоха вообще не было претензий — этим он выгодно отличался от Полудницы.

Он встал у чертополоха и приготовился ждать.

Ждать пришлось долго. Солнце поднялось выше, тени спрятались под корни, поле накалилось. Полудница не выходила. Тихий переминался с ноги на ногу — если можно на-

звать ногами то, что заменяло ему ноги. Он уже сто раз пожалел, что встал так рано. Мог бы ещё спать. Мог бы лежать в своём углу и ждать, пока она сама проснётся и увидит его подвиг. Но нет — он, как дурак, торчит здесь, у этого колючего куста, и ждёт. Подвиги вообще редко бывают удобными. В этом их главный недостаток.

От скуки он начал гонять перекасти-поле. Сухой шар сорвался с межи и покатился подпрыгивая на трещинах. Тихий дунул — перекасти-поле полетело быстрее. Ещё дунул — оно взмыло в воздух и рассыпалось в пыль. Скучно. Перекасти-поле кончилось. Поле было большое, но перекасти-поле на нём было конечное количество. Тихий усвоил этот урок.

Он подошёл ближе ко входу в шалаш и нарочно задел плечом берёзовую палочку. Та скрипнула — громко, требовательно. Так скрипят вещи, которые устали ждать, когда их починят. Из шалаша послышался шорох — она перевернулась на другой бок. Тихий выпрямился и принял самую величественную позу, какую только мог принять размытый дух ветра. Поза была не очень величественная, но он старался.

Из шалаша послышался новый звук — она вставала. Тихий метнулся к чертополоху, собрал ещё влаги из воздуха — торопливо, сколько успел, — и вылил на листья. Несколько капель. Но достаточно. Он отскочил обратно и принял ту самую величественную позу. Поза была не очень величественная, но он старался.

Когда Полудница наконец вышла, солнце уже поднялось

над полем. Она потянулась, разминая плечи — и замерла.

Чертополох был мокрый. С листьев капало. Над ним висело облачко. Серебристое. Знакомое. Такое облачко обычно висит над человеком, который хочет, чтобы его похвалили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.